

Мне вспоминается знакомство с ним на протяжении более чем десяти лет, общение не столь близкое и закадычное, сколь регулярное, иногда чуть ли не ежедневные публичные рандеву за узеньким столиком-стояком в толкотне кафе, в прокуренном и проспиртованном кулуаре какого-нибудь вернисажа, на крикливом богемном пикнике... Мое знакомство с Василием Кондратьевым оборвалось, как говорится, в связи с его преждевременной смертью, трагически-нелепой и символической, как и многое в его опережающей саму себя жизни, — оборвалось, поставив перед фактом. Перед фактом его отсутствия в остроумных и фривольных интеллектуальных беседах или совместных походах за добавочным алкоголем. Перед фактом его отсутствия среди стеллажей Публичной библиотеки (где мы, ненароком сталкиваясь, обсуждали гетеронимию Пессоа или описанные у Балтрушайтиса анаморфические цилиндрические зеркала) или же на посиделках в пивных барах, где Василий принимал не последнее участие в коллективном сплетничанье о сексуальных авантюрах общих знакомых. Перед фактом его отсутствия в скученном, тесном и авантажном ландшафте интеллектуального Петербурга — после его ухода этот ландшафт сделался иным, незнакомым, разреженным...

Как, пожалуй, никто другой из современников, Василий был эталонной фигурой ландшафта (я намеренно

ставлю логический акцент на это слово, повторяя его неоднократно). Бродский точно и самокритично съязвил, что его отсутствие большой дыры в петербургском пейзаже не сделает. Действительно, не сделало — Бродский принадлежал к той породе титулованных небожителей, что всегда вылезает, выпячиваются из породивших их ландшафтов, как из смиренных сорочек, поэтому у них все ландшафты подозрительно похожи друг на друга. Василий относился к иной, куда менее эгоцентричной касте ревнителей (говоря более современным языком, шоу-мэйкеров) петербургского ландшафта, его мифологии и лабиринтообразной топики, поэтому та прореха, то зиянье, которое образовалось после его исчезновения из этого ландшафта, едва ли быстро срастётся, едва ли будет залатано какими-нибудь арахнами или изидами. Раскручиваемый Василием (и вокруг него) ландшафт был далеко не однородным, монолитным телом, скорее полиморфным гибридом петербургско-европейской культуры. Для Василия петербургский ландшафт — это и местные закоулки, дворики и крыши, будто татуированные и овеществлённые прозой столь ценимых им Кузмина и Вагинова. Но это и семирамидины виллы наслаждений, заимствованные из Мандиарга, или южноитальянские, пропитанные муссолиниевским цезаризмом, каменоломни Де Кирико (обоих авторов Василий штудировал, переводил и пропагандировал). Подобно Неизвестному поэту или «установившемуся автору», alter ego Вагинова из «Козлиной песни», Василий, зачитывая вслух на людных междусобойчиках цитаты из книжки по-французски или по-английски, беспрестанно занимался «перебежками из одной культуры в другую» (недаром публичное появление Василия в его последний вечер было встречено дружным возгласом: «А, пришёл Неизвестный поэт!»). Кажется, к пробежкам по культурному ландшафту была

приспособлена вся его пластика, особенно походка — двигался он, привставая на цыпочки, словно готовясь спланировать со страшной, неизречённой высоты, будто преодолевая тягу культурной левитации и одновременно подчиняясь ей. Подчинился.

Многие жизненные, любовные и особенно литературные эксперименты Василия были намеренно, продуманно и пунктуально стилизованы под ампулу «проклятого поэта». В период всеобщего культивирования респектабельности и импозантной чёрствости его ошарашивающая, расхристанная «проклятость» даже близким знакомым казалась иногда старомодным трюизмом и эстетизированной причудой. Сейчас понятно, что занимать отвергнутую всеми вакантную нишу «проклятости» (до самого финала) его заставлял не индивидуалистический каприз, а непреодолимая декадансность внутренней речи. Василий обладал смелостью сделать из себя декадента в эпоху, когда декаданс не только третируется модной фешенебельной публикой, но и вообще списывается с культурных счетов как рудимент столетней давности. Но нащупанная Василием жилка декадансного поведения и письма — вовсе не наследие русского угарного декаданса, сводящегося к пощипыванию исподтишка пунцовеющих литературных барышень или употреблению из-под полы дрянного кокаина в дешёвом, бордельного пошиба, ресторанчике. Электризующий его прозу (особенно книгу «Прогулки») декадансный импульс почерпнут из уроков, преподнесённых в его франкофильскую юность книгами Лафорга, Аполлинера, Бретона, Мандиарга и т. п. — уроками ужаса и благолепия перед отшлифованной, андрогинной машиной письма, перед ее перемалывающей всё и вся работой на износ и на кон. Фатум настоящего декадента, каковым и был Василий, — низвергаться в её жернова, зондируя там разрыв между спиритуальной лёгкостью, невесомостью внутренней речи

и тяжеловесной монотонностью языковых механизмов и агрегатов. Проза Василия — полигонный образец того, как запущенная на полные обороты машина письма съедает саму себя, а заодно и фигуру пишущего. И съела. Не так, как блоковская чушка своего поросенка, а так, как европейский технизированный андроид своего конструктора. То есть целиком. Проза Василия — (авто)прогулки по ландшафту европейской культуры в намеренно испорченной, с отключённой системой тормозов, машине письма.

Я несколько не фаталист, написал Михаил Кузмин, один из путеводных для Василия и не только для него. Но уверен, что все уходы. Нам предписывает. Судьба. Уход Василия также предписан исключительно судьбой, точнее, литературой, раз он уж выбрал её в качестве судьбы, пусть сейчас и не сулящей сиюминутные лавры. Свойственное Василию математически выверенное следование внутренним предписаниям и позволило ему осуществить хармсовское падение в небеса сквозь створки вменённого русским литератором лестничного пролёта им. Гаршина. Осуществить впадение в литературу, опережая жизнь.

*Первая публикация: в журнале «На дне» (Санкт-Петербург), октябрь 1999, № 20 (73).*